

дание, газета, магазин. И для литературы бы тоже.— Ну, про-
стите за шутку:

Как уст румяных без улыбки
и проч.

Крепко жму руку.

Ваш В. Розанов.

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

<После 4 ноября 1905>

Спасибо, что ответили, уже перестал ждать: и только мучил-
ся: зачем я в такое занятое время написал занятому человеку
такое неуместное письмо с глупым вопросом: «рассудите меня,
помогите мне понять меня самого».— Ну, вот, дочитал письмо
до конца: вижу и Вы это заметили: «кровь льется кругом, а вы
пишете — о себе». Но то был порыв и собственно давний
порыв — написать Вам, и даже писать Вам (т. е. иногда),
хотя бы и не дожидаясь ответа (Вы заняты: и на молчание я
ни мало не рассержуясь, раз зная общее добroе отношение ко
мне).

«Красиво погибнуть на глазах народа и за народ» — разве
я не знаю тайны этой?

Конечно — это и значит взойти на Небо и стать вечным, как
делали древние полубоги.

Вы лирик («Песня о соколе», да и все), у Вас есть мечта и
способность мечты — потерянная почти всем миром и от потери
которой он, собственно, и стал «мещанством». Знаете, даже Тол-
стой больше «мудрит», больше «сознательно ведет толпу, к чему
ему хочется», нежели поет песню* т. е. то, что теперь более
всего нужно миру и чего более всего миру недостает. Письмо
Ваше ужасно многое в Вас мне объяснило, именно объяснило
тот героический момент, который Вы очевидно играете, создаете,
делаете в истории; его возбуждаете в других, ибо его имеете в
себе. Дураки назвали это «романтизмом», когда это «в самом де-
ле»: а когда это «в самом деле» — то ведь больше миру ничего
и не нужно.

Ну, я Вам скажу на это вот что: у меня 5 детишек, между
4 и 10-ю годами, семья склеенная незаконно (тайный брак, 1-ая
жена меня оставила в 1886 году и жива, вторая — всю себя

* <Сбоку на полях примечание Розанова> Тут я не разумею тепереш-
них поэтов, которые пишут стихи, а не поют песни: песня — душа века, но
лучшая, плачущая о себе или над собою.

положила для меня): стало быть это *абсолютные сироты* без меня, умру я — и они (4 дочери) — через 10 лет в «% проституции».

Я когда об этом Влад. Соловьеву (т. е. что дочери будут, верно, по полной необеспеченности, проститутками) написал,— то он перешел к «другим философским темам», просто не интересуясь кровью и жизнью, и я тотчас, не за себя, а как бы за мир — почувствовал к нему презрение, и это было *настоящей* причиной, что мы вторично «сатирически» разошлись. Может это я и лишнее пишу, но не лишнее будет в том смысле, что Вы поймете, до чего мне понятно соотношение между свиньей, собакой и мальчиком. Да, это так: свинья ела науку, философию, стихи, «театр и искусство» — и в сущности ничего этого ей и не надо даже было, это охорашивало ее хлев и реабилитировало ее свиную душу. «Тоже искусством занимаемся и музам покровительствуем», «эпоха Медичи, эпоха Перикла, и мы». Все это понятно. И в смысле человеческого состава — не имеем мы читателя, не имеем публики. Кстати: я был в «На дне», в Худож. театре в Москве: вижу в антракте господа в смокингах (особенно шикарный костюм) и моноклях, ажитируют: «нет, вы видели? Это — ужас! Никто этих типов не предполагал! М. Горький открыл. Ведь это — уже не люди». Я подумал: «и что Вам Гекуба, и М. Горький, и дно».

Да, теперь все поднялось. Не думайте, что я не вижу, не понимаю. Эх, стар я, 50 лет, да и всегда был лежебока-созерцатель; смотрел на людей, *мечтал, тоже ужасно мечтал*, если хотите — мечтал даже и о волжских лесах (я родился на Волге), и о добродушной барочке, *своей, «со товарищи»* — а прожил байбаком, увальнем, мечты перешли в теоретизированье, в муку с вопросами, в борьбу — с идеями, и на это все ухлопалось.

Нельзя говорить, не пощупав шкуры друг друга: посему Вам скажу кратко, что детство мое все прошло в страшной, почти неслыханной бедности: мамаша 2 последние года не поднималась с постели, «работников» был почти что я «главный», днями ели печеный лук (до чего сладок) — и обычно меня посыпали в лавочку купить на 1 коп. хлеба (т. е. 1 к. и была в доме) — и это была страшная мука самолюбия. Так что я эту «оперу» прошел. И след. Вас и все Ваше понимаю, равно как и Вы не должны меня считать «чужаком».

Но — мечтатель, лентяй и (от того, что дети? от того, что вечный умственный труд?) *физически трусивый человек*. Не то, чтобы прямо и отчетливо: а просто, никогда не хворав, не выношу и прихожу в бешенство даже от головной боли, об опе-

рации и подумать не могу (бедная жена моя 3 раза ее выносила), смерти вовсе не боюсь — а быть зарезанным на улице черносотенниками — ну, просто не умею этого представить.

Но все я пишу о себе, а ведь нужно писать о мире. Сшиблись грудь с грудью весь русский идеализм,— который теперь только обнаружил свои маленькие размеры, в смысле человеческого состава,— и последний цинизм. Вот уж судьба! Рок, fatum! Нельзя было предвидеть в 1903 году. Михайловский-то умер: вот бы посмотрел. Да и все, милые, сошли скорбные в могилу без всяких надежд или с какими-то тусклыми, не верными, рабочими. Знаете ли, до чего разрослось движение: сегодня за обедом 2 дочери из приготовительного класса гимназии Стоюниной говорят: «а к нам подошли девочки (т. е. подруги приготовившие) и спрашивают: «вы (т. е. Розановы) за кого — за рабочих или за царя?» (каково разделение?!)— «Ну, за кого же вы?» — «Конечно, за рабочих»;— «А ты?» (сын 5—6 лет): «я за царя». Ну, подумайте. И девчонки что-то понимают, не так сболтнули: верно думают: «рабочие — это бедные, царь — богач; мы за рабочих».

Так что теперешнее движение абсолютно объемлет всю Россию. Это не бывало. Революции, кроме, может быть, 1-й французской, совершались в городе и городом, столицею, «группами» жителей, но не страною в ее составе. Это удивительно и ново.

«Пролетарий» — хорошо. Я бы только лучше писал и говорил на митингах: «бедняки», «не имущие», или просто: «рабочие». Ведь должны понимать безграмотные, дети, деревенские бабы. Ведь не со «словарем русско-иностранных слов» имходить на митинги. Раз встал весь народ или вот-вот встанет, должно быть все «по-русски».

Удивительное явление, удивительные события. Раз 2 рабочих наборщиков (1-я забастовка, около 12 октября) переспорили всех видных сотрудников «Нов. Вр». (Гольштейн, Меньшиков, Столыпин, Пиленко), отстаивая право наборщиков «не набирать лживых статей». Жена, заехавшая случайно в редакцию и из прихожей слушавшая этот спор, шедший в коридорчике, сказала мне: «как мне тебя жаль, В., ты действительно работаешь среди сволочи, людей лживых и циничных до мозга костей». Сотрудники рабочим говорили: «да неужели же вы будете нашими цензорами». Те ответили: «цензорами вашими мы не хотим быть, а когда 9-го января нам прислали вечером и днем одни статьи с описанием событий, а потом ночью набор этот был уничтожен, и нам прислали другие статьи с полными описаниями, где все было скрыто и замазано — то мы вправе

не набирать такой фальшивой газеты или вот таких фальшивых номеров». Речь прямая и мужественная.

Ну, да это Вам известно лучше меня.

Задача мира воспринять мечту. Мечта не есть фантазия. Не есть роман. Мне думается иногда, что Бог сотворил *сперва мечту* и потом человека: так что она древнее даже и человека, и хоть забывается иногда, способность ее теряется на века: но никогда не окончательно, и, когда она будится — все ее понимают как что-то совершенно родное, всем близкое, *всем сразу понятное* — и идут за ней, как за «старой бабушкой» младенцы. Мечта — это и красота («лучше сгореть на костре, чем утонуть в помойной яме» — в Вашем письме), и истина, и справедливость, — доброта. Как хорошо, что у Вас есть тоска ее. Даже больше — что есть способность ее, есть она уже воочию. Это и есть «звезда над вами», мой друг — уж простите за фамильярность. И не гасите ее, ищите ее, еще ярче ее зажигайте.

Понятны мне (и тоже не умею выполнить) и слова Ваши: «Правда — проста, все великое — просто, народ — прост как небо; с ним нужно говорить хорошими, твердыми словами» и пр. Знаете: *другим* я это самое говорил: «нельзя быть мудрым без простоты, все, что не просто — еще не зрело, оно и вздорно и ненужно». А сам не умею выполнить. И от того, что жизнь моя до известной степени прошла в хитрости, в обмане: был я всегда страшно придавлен, надо мной всегда были «у — какие большие», которые меня всегда могли раздавить мизинцем, и я с детства, страшно раннего, приучился *бояться, ненавидеть и скрываться* — и, вероятно, это передалось в психику и затем в слог. Даже в ход мысли. Такой «шаг» выработался, увертка.

Мне ведь не жаль, что я не имею славы. Стар и ленив для нее. Меня мучит, что *лучшим людям я не нужен*. И не то, чтобы они «не узнают меня, не полюбят» (тут есть грусть, но не огромная): а что я *им-то не нужен, ничего им в кошель не положил, хотя явно мог бы*. Это черт знает что такое случилось! Я думаю — не бывало ни с одним писателем. Где я ни писал («Моск. Вед.», «Русск. Вестн.», «Русск. Обозр.», «Нов. Вр.»; только *условно и частью* любил «Нов. Путь»), я решительно ненавидел и презирал те журналы, в которых писал, и редактора и всех сотрудников, буквально сытых и посмеивающихся. Из «Н. Вр.» я попривался выйти, особенно когда наступили «события». Там меня связывает только сам Суворин: тут тоже пожалуй слабость: старик меня любит (он далеко не всех, или скорее почти всех своих сотрудников не уважает), и это вызывает во мне не то что любовь, но очень ласковое к нему чувство. Он не видел студенчества и образованных рабочих, не был в университете, лите-

ратуру воспринимал больше со стороны эстетической, историю — со стороны «Минина и Пожарского» — и абсолютно ничего не понимает в движении, «не может поверить» ничему, хоть я и говорю ему. Для него все это «жиды, негодяи и властолюбцы». И именно он мечте-то не верит.

Ваш В. Розанов.

Еще раз спасибо за ответ. Он таков, что я позволю себе еще писать. Может, когда и свидимся. Дайте знать, когда приедете в Петербург — приду.

В. Г. КОРОЛЕНКО

<5—7 апреля 1906>

Милостивый государь, Владимир Галактионович,

Не можете ли Вы мне помочь — советом, указанием, готовностью, мотивированным отказом? — в затруднении, в котором сам я никак не найдусь и даже не понимаю, что мне нужно делать или что можно сделать. Написал я статью: «*Ослабнувший фетиш*», — думаю — ни для кого не оскорбительную, где выясняю историко-философски, что не содержится никакой личной, так сказать *фамильной*, какого-нибудь студента, учителя, латыша и пр. вины в *ослабленности* у него личного чувства Государя как личности и должности — ибо это есть *мировой факт*, как перемена климата в стране, как высыхание больших озер в Азии и проч.: а за *общее не судят*. Мне думается, этому мировому течению до того все подчинены, что Государь сам не имеет того *само-ощущения* как Александр I, Николай I, даже Александр II, в коих «фетиш» был еще очень силен и это был просто *факт*, которого теперь нет. Как сердиться за ливень улице — за туман на улице или за ясную погоду?! А у нас судят, судятся. Все это, мне кажется, у меня сказалось хорошо, т. е. с убеждением и увлечением, так что, писавши, я подумал: «это бы Государю надо прочесть, и тогда он сам перестал бы сердиться за ослабление у нас всех монархических чувств». Словом, рассуждения бывают удачные и не удачные, но это *вышло* (удача, без всякой моей натуги) удачно. — Предложил я его в «Полярную звезду», и оно было уже после кой-каких колебаний принято: но сегодня получаю статью обратно с уведомлением, что они боятся вновь потерять право издания, претерпевши за статью Штильмана на ту же тему, на какую написана моя статья.

И вот я прибегаю к автору «Слепого музыканта» и «В дурном обществе», зная, что нашлось у него местечко для пана Тыбурця — найдется и для недоумевающего литератора —